



японській війні у 1904 р. через поштово-телеграфні ощадні каси розпочався збір добровільних пожертвувань на посилення військового флоту, зокрема, будівництво нових міноносців [10, 173].

За даними Стеблівської поштово-телеграфної контори за 1 липня 1914 р., на основі діючих в державі ощадних кас, вкладники могли отримувати гроші та відсотки за своїми книжками особисто чи через довірену особу. До того ж в останньому випадку повинні бути представлені в касу, окрім книжки, лист-доручення вкладника. За тогочасних умов вказаний порядок видачі вкладів із ощадних кас за дорученням не був зручним для вкладників, які бажали, не знімаючи з кас вкладів, надати розпорядження ними своїм близьким, що перебували в матеріальній від них залежності. Враховуючи це, було визнано за доцільне дозволити записувати в книгу каси словесні заяви вкладників про надання права негайно розпоряджатися тим особам, які будуть вказані ними в якості їх наступників за заповітним розпорядженням [11, 18].

Держава докладала чимало зусиль для того, щоб уникнути паніки серед населення і зберегти стабільність у роботі поштово-телеграфних ощадних кас. У лютому 1904 р. управляючий Київською казенною палатою розіслав через місцеві казначейства циркуляр, яким зобов'язав розмістити у приміщеннях кас оголошення про те, що вклади населення залишатимуться недоторканими і за першою вимогою видаватимуться вкладникам. Окремим пунктом цього циркуляру, що йшов під грифом «таємно», потрібно було терміново подавати інформацію про факти масового вилучення вкладів [12, 47].

Таким чином, установи зв'язку відіграли важливу роль для ощадної справи населення та стали своєрідним способом накопичення капіталу, в першу чергу в сільській місцевості без банківських установ. Разом з тим вони дали більший доступ державі користуватися заощадженими коштами підданих.

1. Яворский Н.Д. Почтово-сберегательные кассы в России / Н.Д. Яворский // Почтово-телеграфный журнал. – Отдел неофициальный. 1893. – Сентябрь. – С. 928–940.

2. Инструкция «По операциям почтово-сберегательных касс» № 13 от 20 марта 1891 г. // Почтово-телеграфный журнал. – Отдел официальный. – 1891. – № 7. – С. 109–114.

3. Жарков С. Почтово-телеграфные сберегательные кассы в России / С. Жарков // Почтово-телеграфный журнал. – Отдел неофициальный. – 1893. – Сентябрь. – С. 928–940.

4. Циркуляр Главного управления почт и телеграфов от 16 августа 1893 г. «О порядке пересылки вкладов сберегательными кассами Государственного банка в почтово-телеграфные сберегательные кассы» / Почтово-телеграфный журнал. – Отдел официальный. – 1893. – № 35. – С. 332–333.

5. Циркуляр начальника Главного управления почт и телеграфов от 29 апреля 1894 г. № 17 «О повышении с 10 руб. до 50 руб. размера взносов в почтово-телеграфные сберегательные кассы, оплачиваемых сберегательными марками» // Почтово-телеграфный журнал. – Отдел официальный. – 1894. – № 16. – С. 123–124.

6. Циркуляр начальника Главного управления почт и телеграфов «О приеме золотой монеты во вклады почтово-телеграфных сберегательных касс» // Почтово-телеграфный журнал. – Отдел официальный. – 1896. – № 30. – С. 478.

7. Государственная сберегательная касса // Почтово-телеграфный журнал. – Отдел неофициальный. – 1897. – Февраль. – С. 278–285.

8. Центральный державный исторический архив Украины м. Києва (ЦДІАК України). – Ф. 696. Управління Київського поштово-телеграфного управління пошт і телеграфів. – Оп. 1. – Спр. 71. – 1901–1903 рр. – 497 арк.

9. Высочайшее утвержденное мнение Государственного совета от 27 апреля 1893 г. «Об изменении временных правил о почтово-телеграфных сберегательных кассах и об увеличении личного состава Главного управления почт и телеграфов» // Почтово-телеграфный журнал. – Отдел официальный. – 1893. – № 18. – С. 189–191.

10. Циркуляр начальника Главного управления почт и телеграфов от 3 марта 1904 г. «О приеме в почтово-телеграфных сберегательных кассах пожертвований на усиление военного флота» // Почтово-телеграфный журнал. – Отдел официальный. – 1904. – № 10. – С. 172–173.

11. Державний архів Черкаської області. – Ф. 905. Стеблівська поштово-телеграфна контора. – Оп. 1. – Спр. 3.

12. Циркуляр начальника Главного управления почт и телеграфов от 9 января 1904 г. № 1 «О вознаграждении чинов управлений почтово-телеграфных округов и почтамтов за труды по операциям почтово-телеграфных сберегательных касс» // Почтово-телеграфный журнал. – Отдел официальный. – 1904. – № 3. – С. 47.

Д.А. Сафонов

ПРОБЛЕМА КРЕСТЬЯНСКОГО СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА

Автор поднимает проблему изучения крестьянского социального опыта, – но не как обобщенного элемента политического сознания крестьянских масс, а как элемента крестьянской активности. При этом он предлагает идти не от теоретических обобщений, а от фактов. В качестве примера им проанализирована хроника крестьянского движения отдельного взяттого региона – юго-востока европейской части страны в XIX в., сделаны соответствующие наблюдения.

The author raises the problem of studying the peasant social experience – not as a resumptive element of the political consciousness of the peasant masses, but as an element of peasant activity, based not on the theoretical generalizations but on the facts. The author analysed the Chronicle of the peasant movement of a given region – the south-eastern European part of the country in the XIX century as an example and made all the appropriate observations.

Если поставить вопрос: возможно ли говорить о крестьянском социальном опыте?, – то ответ будет, безусловно, положительным. В самом деле, крестьяне, как люди, просто не могли не накапливать опыт во всех сферах своего бытия, в том числе и социальной. Но видоизменим вопрос: что представлял собой крестьянский опыт? – и мы обнаружим, что в ответах будут преобладать теоретические рассуждения и логические построения, ибо крестьянство далеко не едино и даже не одинаково, а, следовательно, единого социального опыта – опыта всего крестьянства – нет и быть не может.

Что такое «опыт» в поднятом нами аспекте? Это определенное знание, тесно связанное с исторической памятью. Отсюда выходит, что должны быть конкретные создатели определенного опыта, мотивы и возможности для его сохранения в памяти людей, и,



конечно же, применение (использование) этого опыта позднее. Однако применительно к крестьянству, которое вплоть до начала XX в. было достаточно маломобильным, надежно проследить указанную цепочку крайне сложно.

Отсутствие связей между регионами, и даже сельскими населенными пунктами в пределах одного региона, информационная изолированность крестьянских обществ почти исключали распространение возможной информации (или делали таковое почти случайным). Повторяемость крестьянских действий в разных, не связанных между собой территориях, через осязаемые промежутки времени, очень соблазнительно расценить именно как факт использования социального опыта (и, следовательно, факт его передачи). Однако, повторение еще не является убедительным доказательством преемственности. Уместно напомнить слова известного историка Н. Кареева: «После» еще не значит «вследствие» [1, 111].

Да и схожесть действий крестьян вполне может быть объяснена и иначе: схожестью причин, побудивших к выступлению или протесту, схожестью мышления, крестьянской логикой и восприятием действительности.

Разумеется, возможны и неоднократно наблюдались крестьянские волнения, происходящие как бы «по цепочке»: когда информация о случившемся передавалась от села к селу и в каждом конкретном случае крестьяне ссылались на прецедент у соседей: это и известные «трезвенные бунты» 1858–1859 гг., и знаменитые крестьянские волнения в марте–апреле 1902 г., охватившие в Полтавской и Харьковской губерниях 165 сел и деревень.

До революции позиция власти с ее верой в крестьянство вплоть до начала XX в. исключала необходимость рассмотрения крестьянского социального опыта, поскольку в качестве инициаторов полагались пропагандисты и агитаторы всех мастей, но никак не сами крестьяне. Для советской историографии, напротив, социальный опыт, как опыт классовой борьбы, безусловно, имел место и играл чрезвычайно важную роль в деле революционирования народных масс, в том числе и крестьянства. В обоих случаях мы имеем дело с исходными идеологемами, которые по сути своей не нуждались в весомом фактическом подтверждении.

Есть и еще один расхожий аргумент – отсылка к факту или событию, которые по своей значимости просто не могли не оставить следа в людской памяти – из чего делался далеко идущий вывод о наличии этого опыта. Так, для советской историографии было характерно преувеличивать значение опыта крестьянских войн. Например, в коллективной монографии «Революционная ситуация в России в середине XIX века» (М., 1978) размах «трезвенных бунтов» в Среднем и Нижнем Поволжье объяснялся именно тем, что там «особенно живы были традиции крестьянской войны» [2, 139].

Применительно к юго-востоку европейской части Российской империи любимым моментом многих авторов было подчеркивать «особость» народнического «хождения в народ» в Поволжье и Южном Урале – поскольку это «места Разина и Пугачева». Свидетельства А. С. Пушкина, посетившего Оренбуржье в 1833 г., о местных жителях, хорошо

помнивших события полувековой давности, вроде бы подкрепляли эти рассуждения. Однако с достаточной уверенностью можно сказать, что на всем протяжении XIX века, не говоря уж о более позднем времени, в указанном регионе не было отмечено ни одного свидетельства, упоминания о тех событиях именно из крестьянской среды. Пушкин общался с казаками и казачками, а не крестьянами. О пугачевщине в крае если и вспоминали, то представители иных сословий: угрожал новой пугачевщиной оренбургский помещик, протестовавший против реформы 1861 г.; народник Митрофан Муравский во время своего «хождения в народ» 1874 г. говорил о своих надеждах найти поддержку революционерам на «пугачевских» горных заводах и т.п. Пугачевщина действительно осталась в исторической памяти, но только не крестьян региона. И это достаточно объяснимо – основная масса помещичьих крестьян была переселена в край уже после 1775 года, уже как реакция правительства на пугачевщину; даже по официальной статистике, не учитывающей «самоходов», в период между VIII и IX ревизиями (1830–1850 гг.) произошло значительное (50,6%) увеличение крепостного крестьянского населения в крае, переселенного сюда помещиками.

Если ограничится логическими построениями, то вполне можно делать выводы общегосударственного масштаба, говорить о всеобщности и вневременности проблемы. Если же переходить на факты, то становится ясно, что нужна четкая привязка к конкретному региону, сплошное изучение исторической базы и учет временных особенностей.

Нами была изучена социальная активность крестьянства Южного Урала (юго-востока европейской части страны) в XIX – начале XX вв., составлена хроника крестьянского движения (часть ее опубликована [3]). Именно сплошное изучение крестьянской активности на протяжении достаточно длительного времени позволяет сделать интересные нас наблюдения и оценки. Наиболее репрезентативен период XIX века – поскольку, как уже отмечалось выше, в XVIII веке, крестьянства в этом крае было осязаемо меньше, государственное присутствие ощущалось на порядки слабее, а участие в пугачевщине, если таковое и было, не оставило достаточных следов в архивных материалах. Начало же XX века можно и должно рассматривать как принципиально новый качественный этап развития. Поэтому, если позволительно так сказать, «в чистом виде» крестьянский опыт получается наблюдать только в веке XIX-м.

Обращение к фактам крестьянской активности южноуральского региона неожиданно дает весьма ограниченное количество примеров интересующего нас получения и использования социального опыта.

В 1843 г. в Челябинском уезде Оренбургской губернии казенные крестьяне ответили возмущением на реформу управления 1837–1841 гг. По уезду прокатился слух, что цель преобразований – перевести всех в помещичьи крестьяне. Широко разошлись копии с подложного указа Палаты государственных имуществ о якобы грядущем поверстании всех казенных крестьян «под барина». На самом же деле «указ», или как его именовали крестьяне – «предложение» – был обращением к волостным правлениям и сельским расправам с



перечнем повинностей, размеров оброка, которые якобы будут возложены на крестьян после перечисления их в крепостные. Инициатором создания копий был крестьянин Воскресенской волости дер. Березомысской И. Фадюшин, по прозвищу «Люсый». После подавления вооруженного сопротивления крестьян, он, в числе 600 чел., был схвачен и сослан пожизненно на каторжные работы [4, 395]. В 1856 г. крестьяне с. Щучьево К. Варлаков и В. Госьков распространили слух, что в избе Варлакова останавливался сын какого-то царя, обещавший приехать еще раз во второй день Пасхи с двумя товарищами, и что послано приглашение сосланному Фадюшину: «Люсый» должен был явиться к 1-му мая и «тогда все увидят, ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ» [5, 1]. Ими же утверждалось, что «государственные крестьяне по высочайшему повелению, избавлены от платежа податей, так как таковые внесены за них каким-то московским купцом за три года вперед, и что потому произведенный за первую половину настоящего года сбор есть действие неправильное, и деньги поступили не в казну, а в пользу начальников» [5, 1 об.]. Показательно, что впервые сообщавший о «сыне царя» Я. Линков заключал, что эта «попытка вызвать крестьянское движение под флагом самозванства не случайна для этих мест, где еще не стерлись в народной памяти бурные дни Пугачевского восстания» [6, 165]. Уместно отметить, что в монографии Я. Линкова (1952 г.) упоминались оба события – 1843 и 1856 гг. – но они не были связаны между собой, поскольку были различия в именах и географических названиях (автор основывался на вторичных источниках ЦГАОРа). Во время работы над хроникой мы перепроверяли все факты, упоминаемые в литературе и, таким образом, обнаружили в госархиве Оренбургской области первичные документы, подтверждающие связь событий, детали происшедшего и даже особое свидетельство, что и Варлаков, и Госьков были участниками событий 1843 г. [5, 11].

И еще одним примером может быть ситуация вокруг хутора Сукулак Оренбургского уезда, где крестьяне отказывались платить выкупные платежи. Все началось в декабре 1868 г., когда 20 домохозяев подали «докладную записку», где обвинили во всем мирового посредника Соколова, одновременно являвшегося их помещиком, в отказе дать им землю по грамоте, и по этой причине требовали увольнительного свидетельства. Общество наняло землю на стороне и потому сочло себя вправе не платить помещику. Губернатор отреагировал на жалобу только 31 февраля 1870 г., признав ее незаконной. Можно предположить, что затяжное упорство крестьян, которое не сломала даже экзекуция, подтолкнуло власти. Вот и урок, невольно даденный крестьянам – реакция власти будет только при определенном упорстве с их стороны. Вероятно, не дождавшись своевременного ответа от губернской власти, крестьяне отправили ходока – 26 февраля 1870 г. в Петербурге был задержан уполномоченный от Сукулака отставной рядовой Д. Ф. Полянский, который принес императору прошение.

Губернские власти в свою очередь сообщали, что крестьяне вообще-то виновны, но с 19.02.1870 г. они вольны в выборе земли и имеют право требовать увольнительного свидетельства. 14 января 1871 г. они

были вызваны специально для объявления бумаги о переселении, но принимать ее отказались и нарочно разошлись. А 4 апреля 1872 г. крестьяне подали жалобу, что их выдворяют с арендованной земли, продают дома и имущество за платежи за надел, которого не получали.

В итоге затянувшийся спор был решен грубой силой – в июле 1872 г. губернатор распорядился об «устранении зачинщиков» и их ссылке. Это может быть и погасило на время конфликт, но никак не способствовало умиротворению [3, 122, 123, 125].

Как уже упоминалось выше, начало XX века – качественно новый этап в развитии крестьянского сознания. Крестьянство становится более мобильным, более политически грамотным, более приобщенным к информационным каналам – хотя более корректным было бы говорить не о крестьянстве в целом, а о конкретных людях и обществах. Но число их возрастает в разы по сравнению с предыдущим периодом.

Вероятно, едва ли не главной особенностью можно считать то, что ранее, применительно к веку XIX-му, речь шла прежде всего о накоплении *своего* опыта, в то время как теперь ощутимо преобладающим становится передача *чужого*, причем не только реального опыта, но и – назovem его «желаемого» – начинаний и инициатив преподносимых как якобы опыт. Как это, например, делалось в оренбургской левой прессе периода первой революции, когда в каждом номере, в обязательном порядке помещалась колонка «Крестьянское движение», где «просто» давалась подборка информационных сообщений с мест о проявлениях крестьянской активности по стране. И цель, которую подобным образом преследовали журналисты, была вовсе не сообщение новостей.

Становятся массовыми каналы, по которым поступала подобного рода информация: это и деятельность агитаторов различной политической ориентации, и влияние ссыльных крестьян, в массовом количестве высылаемых в другие губернии в период первой русской революции и первые послереволюционные годы «за вредную в политическом отношении деятельность под надзор».

Получается, что говорить о социальном опыте всего крестьянства нет весомых оснований, а изучать его в конкретных проявлениях крайне сложно. Вероятно, поэтому элементы социального опыта крестьян предпочтительнее рассматривать в общей канве анализа их политического просвещения. Но интересно, что при этом социальный опыт как объект исследования продолжать существовать.

1. Кареев Н. *Историка (Теория исторического знания)* / Н. Кареев. – Петроград, 1916.

2. *Революционная ситуация в России в середине XIX века.* – М.: Наука, 1978.

3. Сафонов Д. А. *Крестьянское движение на Южном Урале. 1855–1922. Хроника и историография* / Д. А. Сафонов. – Оренбург: Оренбургская губерния, 1999.

4. Серeda Н. *Позднейшие волнения в Оренбургском крае* Н. Серeda // *Вестник Европы.* – Т. II. – Спб., 1868.

5. *Государственный архив Оренбургской области (ГАОО).* – Ф. 6. – Оп. 8. – Д. 77.

6. Линков Я. И. *Очерки истории крестьянского движения в России в 1825–1861 гг.* / Я. И. Линков. – М.: Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1952.